

Георгий Полонский

Кинозвезда и учитель

90 процентов публики, возможно, оценят меня вращением пальца у виска, но я был в оппозиции, когда на главную роль учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника» утверждали Вячеслава Тихонова. Слишком красив — это больше всего пугало. Актеру исполнилось 40, а это казалось минусом: слишком молод... Такого извращения в съемочной группе не понимали: почему очевидные достоинства я третирую как недостатки? Аргументы мои воспаряли куда-то к итальянскому неореализму, привника которого столь важна для моего поколения, но выходило и неубедительно, и бестактно. В тех фильмах понурый безработный мог однажды побриться — и мы видели: красавец, Марк Аврелий! Нельзя же прямо сказать, что на улицах Рима в такую фактуру веришь, а в нашей учительской — почему-то нет... И потом, пристало ли мне, новичку в кино, без году неделя сценаристу, чему-то учить на импортных примерах опытного, широко известного режиссера? Ростоцкий? И все же я бредил наяву: эх, пригласить бы Бориса Андреевича Бабочкина! Или Жакова Олега Петровича... Что? Обоим уже по 64 года? А вам легче актера «составить», нежели «омолодить»? Не знаю, не знаю... в данном случае, по-моему, наоборот. Ну хорошо, тогда — Зиновия Гердта!

— Слушай, ты сценарий-то свой помнишь? — раздражился С. Ростоцкий. — Вот ты написал, что в героя влюблена бывшая его ученица. Хотя он ей годится в отцы. В отцы — да... но не в дедушки же! Или ты вообразил, что такие люди, как он, только до 17-го года рождались? Или... слушай, а не застенчался ли ты его яркости, его феноменальности?

— Это вы в точку, — потупил я очи долу. — Многовато козырей я выдал учителю. Боюсь, не поверят нам... если он еще и красив, и молод. Не надо цветущего Марлона Брандо у классной доски!

— Надо. Миллионам зрителей — еще как надо! Знаю, в одном из вариантов ты вообще его инвалидом сделал, написал негнущуюся черную перчатку вместо руки. Так вот, — он будет полноценным. Две руки будут, два глаза...

Зубы — свои! До пенсии ему лет 15! А тебе в утешение могу обещать, что Тихонов будет в очках, практически не снимая их всю дорогу. И что сделаем ему седой чубчик, о котором ты сто раз там упоминаешь... Все! Подойди теперь к Вячеславу Васильевичу и скажи, что рад и горд, что такой актер... в общем, не мне слова тебе подкашивать!

Я подошел к Тихонову и сказал. В успехе фильма «Доживем до понедельника» его доля и впрямь оказалась неопределимо большой.

Но режиссер правильно меня уличил: чего-то я все же стеснялся, что-то хотел сбалансировать с помощью смешков под глазами героя, впадин на щеках, сутулости... Да, в финале он — ребячий любимец, но до финала надо еще добираться, а по пути у него несколько раз должно возникнуть впечатление, что ученики смеются над ним! Если фильм, конечно, собирается быть правдивым.

Этой киноленте — четверть века — этом году! Можно уже и открыть карты... если читатель еще помнит, о чем речь, — ведь большинство фильмов стареет, как сыр.

Видите ли, я хлопотал в том сценарии о странном гибриде: учитель + художник.

Что скажете вы о таком «фрукте»? Что слишком он экзотичен? Что в нашем социальном климате он не живет? Но погодите про климат и среду, я не обойду их, я только хочу сперва знать: нужен ли мой гибрид детям? Не связано ли его отсутствие в школьном меню с хроническим сенсорным голодом у ребят? С тем самым, о котором твердят психологи и невропатологи? С тем, что корчит такие свирепые гримасы взрослому обществу?

Но, похоже, это уже второй вопрос, а прежде надо узнать, реален ли, правдоподобен ли синтез, о котором я размышлял. Вот выведу его на экран, а мне скажут, что это «сапоги всмятку», «жареный лед»... Зябко, но пусть! Отвечу правду — что два пленительных учительских прообраза, накладываясь один на другой, мерцали мне из моих собственных школьных лет... Вообще меньше всего в помыслах о моем герое было теории. Просто я вглядывался в то далекое мерцание и слушал свою интуицию; отсюда и вытанцовывались диалоги, сценки, эпизоды, которые очень не сразу, очень нехотя соблаговолит соединить в нечто, напоминающее сюжет. Сел-то я за эту работу вовсе без намека на сюжет — с одним лишь ощущением героя.

Вот он подсаживался к роялю в неосвещенном актовом зале и играл сочинение Грига «Одинокий странник». На каком, так сказать, основании он делал это? Когда и где учился он фортепианной игре и почему тогда не с музыкой, а с педагогикой, с преподаванием истории связал свою жизнь? Ответов не было у меня. «Грело» именно то, что учитель наделен таким роскошным изливством: знает музыку, играет, пусть не дружно, а себе, другим-то стесняется, не любит афишировать эту способность свою. В той сцене он как бы застывает учительницей литературы Светланой Михайловной. Она располагает слушать, а ему уже охота закрыть инструмент... Здесь он покажется высокомерным, понимал я, но выдавал себе и ему разрешение: пусть покажется, даже хорошо, тут источник конфликтности, которую мой Мельников носит в себе, как делали это Печорин или Базаров...

[Что, нескромно! Но «писатель», когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику». — утверждал Александр Довженко в не лучшие для творческой гордыни времена. Тогда почему, извините меня, не гению, не класснику равным! Ненадолго, только для подогрева и разгона, — можно и это. Важно вовремя слезть с пьедестала, сразу после работы. Что получается, впрочем, естественно и ненадолго — благодаря перечитыванию написанного...]

Дальше мой герой, конечно же, грешил стихами. Нет-нет, не собственного сочинения, а лишь любовью к стихам, зна-

нием их на память. Вот он играет с учительницей литературы в изнурительную, просто пагубную для нее викторину: читает строфу из Евгения Баратынского и ждет, угадает ли она автора, и усмешка садиста кривит его рот! А как ей угадать, если о Баратынском учебники писали сквозь зубы, необязательным мелким шрифтом? Так что и здесь проступало роскошное изливство, связанное с искусством, и — отчуждавшее моего героя от коллег... Чтобы «зато» в каком-то из дальних эпизодов сердечно сблизить его с ребятами!



тами! Так я возмечтал и спланировал. А покамест он одинок. Очень. И даже романтические чувства к нему, какие испытывает юная «англичаночка» Наташа, лишь подчеркивают и усугубляют одиночество: сам себе Мельников включает красный свет на этом перекрестке. Но не будем же отвлекаться от нашей темы — учитель и искусство! Проститесь ли мне самоцитирование? Обещаю оборвать его скоро. Мельников рисует на доске свой автопортрет.

«Вот очерк надменного рта, а сверху, на черепе, посажен белый чубчик, похожий на язык пламени. Все преувеличено, все гротеск, а сходство схвачено, и еще как остро! Мельников подумал и туловище нарисовал... птичьей! Отошел, поглядел критически — и добавил кольцо, такое, как в клетке с попугаем. Теперь замысел прояснился: тов. Мельников — попугай!».

Зачем это? Ну просто и швец, и жнец, и на дуде игрец! Еще и рисовать он мастак, этот уникум. Перебор, конечно. С. Ростоцкий это почувствовал и сей очередной талант героя укоротил, не стал демонстрировать. Но у меня сейчас идет «расследование»: зачем самому-то мне понадобилось так изукрасить и возвеличить героя? Эрудит, меломан, знаток поэзии, остроумец, карикатурист... И, в довершение всего, предъявляет к себе какой-то мучительный счет, недоволен собой. Брошенный директору учебник помните? И слова о долготерпении бумаги? Он был историк, его жег стыд. Все его

таланты венчал стыд, доступность души этому чувству — в России талант № 1.

Было, видите ли, убеждение: настоящий учитель — кровноносом! — обязан быть интересен своим ученикам, он как личность не смеет быть серым, ему надо завоевывать их каждый день.

Полно, умел ли я это сам, когда в школе работал? Ну, конечно же, нет! Или разве что иногда... нечасто.

Кстати: и Мельников характеризуется ведь как усталый учитель, как человек, чьи таланты словно запечатаны в по-

стоя столько лет. Но так и не научился я «писать прощ» — то бишь, не давая персонажам приподнять голову над обстоятельствами, определяющими их бытие. Как-то чересчур это по-марксистски... нет, по-филлистерски! Предпочитаю писать, сохраняя для героя шанс, пусть единственный из миллиона, когда-нибудь побывать в Париже, накурлесить до изумления, заплакать на органном концерте, совершить экстравагантный поступок на службе, влюбиться после 60-ти и пойти на соперника с дуэволькой! Люди не равны тем

шесть). Из шумного зала последовал контрдовод, поразивший меня:

— Да, да, эти учителя — хорошие. Но талантливые, понимающие? Как бы белые вороны...

Проговорились товарищи, вам так не кажется? По-моему, словечко «но» сроду не стояло перед таким прилагательным, не пыталось опорочить его! Неужели хотят, чтобы мы вытащили на экран в центр школьного фильма заведомую бездарность и чтоб восхищались ею?!

Судьба картины «Доживем до понедельника» висела на ниточке: идеологическим ведомством неясным казался герой, его заподозрили в «чаадаевщине», раздражали его фразочки с начинкой из «неконтролируемых ассоциаций». Например: «Ты не замечала, что в безличных предложениях есть безысходность? Моросит... Темнеет... Ветрено... Знаешь, почему? Не на кого жаловаться. И не с кем бороться». Судьбу фильма поставили в зависимость от мнения проходившего тогда Всесоюзного съезда учителей. Слово у нескольких сотен делегатов будет одно мнение о художественном произведении! Слово съезд поставит на голосование свои впечатления... Все мы страшно вибрировали. Тихонов — тоже: он тогда еще не знал Мюллера и Бормана, не имел той закалки... Два поклонника фильма из «Учительской газеты» выискивали в съездовском фойе лица помоложе и поинтеллигентнее... Чтобы не нарваться на ответ типа: «но талантливые». В итоге появилась в газете подборка мнений под общей шапкой — «Это наш фильм!». Холодавший нам шею дамоклов меч руководства не без удивления убрало в ножны. Да. А еще через полтора года даже и на Госпремию расщедрились.

Кому кланяться? Учителям, конечно же, — просто спасибо. Вообще нельзя нам размежеваться — людям школы и людям искусства. Как раз противоположный процесс в повестке дня! Спросите Вячеслава Васильевича Тихонова, спросите всех наших актеров, игравших хороших и прекрасных учителей, — они будут того же мнения. Но самое занятное — что игравшие монстров, ненавидимых детьми, игравшие их талантливыми, — тоже присоединятся. Без всяких «но».

...И последнее. Юбилей нашего фильма и его недавние телеповторы дают мне хороший шанс сказать: не всегда я вел себя достаточно лояльно по отношению к моим соратникам во главе со Станиславом Ростоцким — и сожалел об этом. Нельзя позволять ни политике, ни самолюбию вгонять клин в такие альянсы. Если ты, автор, был понят в главном, если и через двадцать пять лет это кино — крупнейший твой козырь, надо вынести за скобки все шероховатости, все, в чем спелось не удалось, и благодарить сподвижников со смирением. Я это и делаю, несколько запоздало, зато обдуманно, виновато, искренне...

правилам игры, которые диктуют им целесообразное поведение, но которые могут ведь и опостылеть... Если хотите знать, я робко написал своего одаренного Мельникова, мало чего позволил ему. Вот это и стоило бы исправить, притянув на экран теперешнего учителя!

Только предварительно надо убедиться (или, на худой конец, убедить себя, то есть просто поверить), что он не поперхнулся свободой, что в бедлам нашего кризиса его характер, его дарования позволили себя не как роза, опадающая на ветру, а иначе как-то. Пусть даже драматичнее, лишь бы не плаксиво. Писать еще одного несчастного учителя? Дубликат Медведев из «Чайки» чеховской? Зачем? Меня упрямо интересует личностный остаток, который не позволяет считать человека только продуктом среды и обстоятельств. Я и тогда, четверть века назад, спрашивал, и теперь повторю: а сам-то он — что? В чем его персональный секрет? Его личная мелодия, отсутствующая в репертуаре хорового кружка?

В одной учительской аудитории — дело было в Новосибирске — я отдувался за весь кинематограф: его корили и клеймили за то, что «нет на экране хороших учителей». Как щит от нападок, я выставил переречен из шести центральных персонажей, изображенных только в моих собственных работах — в трех лентах о школе (сам, кстати, удивился, что «хороших», действительно хороших набралось целых